

ти к у, которая непосредственно подводит исследователя искусства слова от общей идеи «эстетической функции» к понятиям «эстетической потенции», «эстетической относительности», асимметричного дуализма эстетических словесных знаков, «эстетической парадигмы» слова, его «эстетической семантики» и других эстетических категорий языка³. Трудности при осмыслении последствий такого рода «переходов» сводятся к известному постулату акад. Ю. Б. Харитона: если исследователь не может удержать в поле зрения всю картину, он не готов к работе. «Вся картина» — это, разумеется, идеализация. Но опыт становления экологического и синергетического мировоззрений достаточно хорошо демонстрирует необходимость таких идеализаций, чтобы из поля зрения не выпадали существенные звенья.

Самовитое слово, или слово как таковое, провозглашенное в начале 10-х годов XX в.⁴, оказалось в истории отечественной культуры именно таким звеном, выпадение, а то и заведомое искажение которого отразилось на «всей картине». Лингвистическим и литературоведческим нормативизмом оно осталось невостребованным; культура речи и лексикография толковых словарей была по нему с очевидным «недолетом»; философские и богословские концепции Логоса и имени запросто «перелетали» через него. Оно легко приравнивалось к «заумному слову», а не просто включало последнее в себя как одну из реализаций. Оппозицию слова «чистого» и слова «бытового», особую «глубину» первого — уже на уровне языка — подменяла «речевая» оппозиция «слова как носителя художественной субстанции» и «слова как такового», омонимичного хлебниковскому⁵.

Даже в том случае, когда Хлебников включается в такой престижный ряд имен, как Пушкин — Хлебников — Платонов — Бродский, и выступает воплощением «русской национальной идеи начала века (...)»⁶, заметно, что ряд составлен не на языковом, или целостно-идиостилевом, а на речевом уровне, понятия языка и речи синонимизируются, не различаются «слово — тип» и «слово — член» (по А. М. Пешковскому), слово, речь, речевая деятельность, произведение искусства и слово-экспрессема. С другой стороны, даже иные велимироведы склонны рассматривать самовитое слово как слово «божественное», «внеличное», «природное», «абсолютное», «поперечное», изоморфное «миру» и «мифу», подобное иоанно-гумилевскому «Слову», якобы адекватно интерпретируемое в рамках лосевских концепций, полностью отвлекаясь от лингвистической поэтики и уповая на... искусствоведение⁷.

Между тем как будто не нашел опровержений взгляд на самовитое слово, идущий еще от Хлебникова⁸, как на предтечу разлитого в отечественной филологии и трудно осваиваемого смысла. Он особенно отчетливо выражен или намечался в концепциях Мандельштама: самовитое слово (буквально — слово как

³ Эти проблемы уже обсуждались автором, в частности, в таких его работах, как [2; 3, с. 77—112 и др.; 4, с. 156—194 и др.; 5; 6, с. 60—74 и др.; 7, с. 165—244 и др.; 8—15]. См. также [16].

⁴ См. [17, с. 624, 625, 632—633 и др.] Впервые словосочетание *самовитое слово* увидело свет, по-видимому, в «Пощечине общественному вкусу» (М., декабрь 1912 г.).

⁵ Например, в статье «Образ художественный» [18, стлб. 369].

⁶ Так в заслуживающей специального разбора работе [19, с. 171.]

⁷ Характерный спор о самовитом слове возник в декабре 1922 г. в Уфе на Международной конференции «Искусство авангарда». Он, между прочим, показал и актуальность переосмысления старых идей В. И. Абаева об «идеосемантике».

⁸ Ср. в 1908 г.: «Слово — пальцы; слово — лен; слово — ткань» (см. [4, с. 142] и «Пути красоты слова, отличные от его целей» [17, с. 580]; в 1919 г.: «Слово — это самовитое слово вне быта и жизненных польз» [17, с. 37; 6, с. 62—64]; в 1922 г.: «Те, кто принимает слова в том виде, в каком они поданы нам разговором (читай: нормированным литературным языком. — В. Г.), походят на людей, верящих, что рябчики живут в лесу голые, покрытые маслом и сметаной <...>» [6, с. 73].